

Дмитрий
Мережковский

ЛИЦА

Лев Толстой и Достоевский
I

УДК 82-311.6
ББК 83.3(2Рос=Рус)
М52

Мережковский, Д.

М52 Лица. Лев Толстой и Достоевский I / Д. Мережковский. — М.: Т8RUGRAM. — 502 с.

ISBN 978-5-519-63148-8

Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) — русский писатель, поэт, литературный критик, религиозный мыслитель, творчество которого входит в сокровищницу мировой литературы.

«Лица. Лев Толстой и Достоевский» — монография Д. Мережковского, в которой исследуется и сопоставляется творчество и мировоззрение двух русских гениев XIX века. В идейную основу работы легла дилемма о христианстве и язычестве, поиск синтеза между Ветхим и Новым Заветом. Эта книга, посвящённая борьбе двух начал в литературе — Божеского и Человеческого, в сочетании с удивительно образным языком будет интересна широкому кругу читателей.

УДК 82-311.6
ББК 83.3(2Рос=Рус)
VIC FC
BISAC FIC000000

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.....	5
Предисловие.....	7
Глава первая.....	41
Глава вторая.....	113
Глава третья.....	191
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.....	239
Глава четвертая.....	241
Глава пятая.....	297
Глава шестая.....	435

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

До последнего времени Л. Толстой никогда, собственно, не был нашим духовным вождем — в полном смысле этого слова, «учителем». Почему? — вот вопрос.

Между силою бессознательного творчества, тем, что мы называем «гением», с одной стороны, и силою сознания, ума — с другой, существуют различные степени соразмерности, согласованности, точно так же, как между физическим объемом тела, ростом человека и его мускульною силою. В существе Пушкина, Гёте соблюдена высшая степень этой соразмерности; духовное строение их подобно строению прекрасного человеческого тела: удивительно согласованно, пропорционально во всех своих частях и членах; вот почему такая легкость и свобода в их движениях: они управляют ими в совершенстве; свободно и легко носят себя, ходят, «точно летают». Этой-то соразмерности у Л. Толстого нет, или она у него есть только в низшей степени. Он недостаточно умен для своего гения, или слишком гениален для своего ума. Мускульная сила, которая легко носит людей среднего роста, оказалась бы недостаточной для великана: умствующий Л. Толстой и есть такой слабый великан, Голиаф, которого, рано или поздно, маленький Давид убьет камнем из пращи.

Эту неспособность к быстрым и легким движениям, эту неповоротливую тяжесть, грузность ума заметил в нем первый, как и многое другое, никем не замеченное, Достоевский. Толстой, говорит Достоевский, «несмотря на свой огромный художественный талант, есть один из тех русских умов, которые видят ясно лишь то, что стоит прямо перед их глазами, а потому и прут в эту точку. Повернуть же шею направо или налево, чтоб разглядеть и то, что стоит в стороне, они, очевидно, не имеют способности: им нужно для того повернуться всем телом, всем корпусом. Вот тогда они, по-

жалуй, заговорят совершенно противоположное, так как, во всяком случае, они всегда строго искренни». Далее называет он эту прямолинейность «исступленной» («Дневник Писателя» 1877 г.) И по другому поводу, о свойственной не только Л. Толстому, но и русскому уму вообще, склонности к чрезмерному упрощению, «опрощению» всего: «Простота, — замечает Достоевский, — прямолинейна и сверх того высокомерна. Простота — враг анализа. Очень часто кончается ведь тем, что в простоте своей вы начинаете не понимать предмета; даже не видите его вовсе, так что происходит уже обратное, то есть ваш же взгляд из простого сам собою и невольно переходит в фантастический».

Когда Л. Толстой доказывает «ничтожность знаний опытных» (Сочин. 1898, XV, стр. 230); когда утверждает он, что все открытия современной науки, от Ньютона до Гельмгольца, все эти, как он выражается, «исследования протоплазм, форм атомов, спектральные анализы звезд» — совершенные «пустяки» (XV, 224), «ни на что не нужная чепуха» (XIII, 193), «труха для народа» (XIII, 181), по сравнению с истинною наукой «о благе людей» и о том, «каким топорищем выгоднее рубить», «какие грибы можно есть» (XIII, 175); что «вся наша наука, искусство — только огромный мыльный пузырь» (VI, 264); что «ни в какое время и ни в каком народе наука не стояла на такой низкой степени, на какой стоит теперешняя» (XV, 256); что она нечто вроде «талмуда», на изучении которого современные люди «вывихивают себе мозги» (XIII, 168); — когда Л. Толстой все это утверждает, то он именно «прет в одну точку», не умея повернуть шею «ни направо, ни налево». Во всем этом есть, конечно, простота и прямолинейность; но простота «фантастическая» и прямолинейность «исступленная». После таких отзывов о науке никого уже не могло особенно удивить то, что Шекспир оказывался «дюжинным талантом» (Левенфельд о Толстом, стр. 113); что крестьянский мальчик Фёдка превзошел в своих сочинениях не только самого Л. Толстого, но и Гёте

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ДОСТОЕВСКИЙ

(IV, 205); что в произведениях Боккаччо нет ничего, кроме «размазывания половых мерзостей» (XV, 89); что Наполеон — дурачок, а древние греки — «полудикий рабовладельческий народец, очень хорошо изображавший наготу человеческого тела и строивший приятные на вид здания», «но мало нравственно развитый»; что всякая женская нагота, хотя бы Венеры Милосской — «безобразна» (XV, 192); что все «картины, статуи, изображающие обнаженное женское тело и разные гадости» (это невероятно, но я не преувеличиваю: сравните с подлинником — XV, 205), что все «существующее искусство, которое имеет только одну определенную цель — как можно более широкое распространение разврата» следовало бы «уничтожить», — «лучше пускай не будет никакого искусства» (XV, 206), ибо надо же, наконец, когда-нибудь избавиться от заливающего нас «грязного потока этого развратного, блудного искусства» (XV, 211). Образованные русские люди, вообще довольно терпеливые и ко всему легко привыкающие — за сорок лет с лишком, в течение которых прислушивались к подобным отзывам Л. Толстого, успели привыкнуть к ним и обтерпеться. Только чересчур наивные или невоздержанные противники его все еще спорили, горячились; прочие давно уже поняли, что бесполезно спорить о том, есть ли книгопечатание, как утверждает Л. Толстой — «сильнейшее орудие невежества» (VIII, 2 часть, стр. 150), и можно ли сравнивать музыку Бетховена с песнями деревенских баб.

Всего менее сердились, кажется, именно те, на кого направлена была отрицательная проповедь Л. Толстого: слишком чувствовалось, что, хотя отрицает он все основы культурного мира — науку, искусство, собственность, государство, церковь — с такою «неистовою прямолинейностью», что, казалось бы, мир должен рушиться, — вся сила этого отрицания идет все-таки мимо жизни, прочь от жизни, и что, если Великая Революция зажглась от гораздо менее дерзкого вольнодумства XVIII века, то все же из толстовского анар-

хизма никогда никакой революции не выйдет; — недаром же все у него кончается буддийским «неделанием», «непротивлением»: жестко стелет, мягко спит. Оглушительные холостые выстрелы, исполинские хлопоты.

«Я совсем озлился тою кипящею злобою негодования, которую я люблю в себе, возбуждаю даже, когда на меня находит, потому что она успокоительно действует на меня и дает мне хоть на короткое время какую-то необыкновенную гибкость, энергию и силу всех физических и моральных способностей», — признается один из очень юных и очень искренних героев Л. Толстого, герой наивнейшего, во вкусе Жан Жака Руссо, но вместе с тем уже толстовского анархического бунта. «Я думаю, что если бы кельнеры и швейцар (дело происходит в заграничном отеле) не были так уклончивы, я бы с наслаждением подрался с ними, или палкой по голове прибил бы беззащитную английскую барышню. Если бы в эту минуту я был в Севастополе, я бы с наслаждением бросился колоть и рубить в английскую траншею». Еще недавно, по поводу злобного возражения на одну из его последних статей, семидесятилетний Л. Толстой признавался с тою же простодушною искренностью: «Статья эта доставила мне удовольствие. Так и чувствуешь, что попал в самую середину кучи муравьев, и они сердито закопошились». Иногда, впрочем, он и сам опоминается и, устав «переть в одну точку», поворачивается, наконец, «всем телом, всем корпусом» и вдруг, замечая, вместо предполагаемой ярости, добрую усмешку на человеческих лицах, признается все с тою же трогательною откровенностью: «Им всем стало неловко; как будто они взглядами говорили мне: ведь вот смазали из уважения к тебе твою глупость, а ты опять с ней лезешь!» (XIII, 60). Да, есть что-то бесконечно трогательное в этой способности великого старика быть вечным ребенком: по бессознательной мудрости, по глубочайшему прозрению в тайны животной жизни, ему как будто не семьдесят, а семьсот лет; а по уму, по сознанию — все еще семнадцать